

Речь идет здесь, конечно, не о личном характере летописца, не о его индивидуальной психологии (так называемого «психологизма» в литературе тогда еще и не было), а об исторически сложившемся русском национальном характере. На протяжении веков характер этот, разумеется, менялся, но основные, исконные его черты сохранились. Именно поэтому Пушкин считал образ Пимена вместе и новым (потому что в таком нетронутом виде он был возможен только в далеком прошлом) и знакомым (поскольку многое в нем, и притом самое важное, осталось неизменным). На языке историка это значит, что образ или «характер» пушкинского Пимена представляет собою «рецидив» летописного образа мыслей.

Отметим, что в споре с Н. Полевым (как автором «Истории русского народа») Пушкин решительно восстал против философско-исторической системы Гизо — против формулы «иначе нельзя было быть», при которой историк отклоняет «все отдаленное, все постороннее, случайное», чтобы превратить картину исторического развития в сплошную закономерность. «Коли было бы это правда, — возражает Пушкин, — то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения».³ Эта установка на роль «случая» (и тем самым на «провидение») является возражением против новой исторической науки с ее поисками причинно-следственных связей и закономерностей. Но если это так, то надо сказать, что, рисуя Пимена, Пушкин не только «угадал» летописный образ мыслей (как он говорит в наброске предисловия к «Борису Годунову»), но отчасти и проникся им. Историк имел бы право снова сказать, что в полемике Пушкина с Гизо виден «рецидив» летописного мышления.

Замечательно, что одновременно с работой Пушкина над «Борисом Годуновым» Грибоедов задумал поэму о 1812 г. с явным намерением придать ей характер народно-героической эпопеи. Одна из начальных сцен этой поэмы должна была происходить в Архангельском соборе и носить характер исторической мистерии: в ответ на трубный глас архангела появляются тени Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра — «из разных стихий сложенные и с познанием всего, от начала века до днесь, как будто во всех делах после их смерти были участниками».⁴ Грибоедов в это время был не только занят чтением летописи (см. его заметки в разделе «Desiderata»), но весь проникнут ее духом, ее образами. Вот он пишет В. Ф. Одоевскому (10 июня 1825 г.): «Сам я в древнем Киеве; надыхался здешним воздухом и скоро еду далее. Здесь я пожил с умершими: Владимир и Изяславы совершенно овладели моим воображением; за ними едва сколько заметил я настоящее поколение».⁵ Вот он записывает под Севастополем: «NB. Воспоминание о великом князе Владимире». Замечательно: не мысль, не думы, а — воспоминание! И дальше — запись под Херсоном: «Не здесь ли Владимир

³ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VII, стр. 147.

⁴ Традиционное отнесение этого замысла к драматическому жанру очень сомнительно. Такое понимание держится, в сущности, только на словах: «М* с первого стиха до последнего на сцене»; однако слово «сцена» не так уж обязательно связано с драмой — оно может относиться и к поэме. С другой стороны, как могут быть представлены в драматической форме такие элементы грибоедовского плана, как «История начала войны», «Очертание его характера», «Картина взятия Москвы»? Как могли быть показаны в театре «сцены зверского распушества, святотатства и всех пороков»?

⁵ А. С. Грибоедов, Сочинения, М., 1953, стр. 533.